

DUBIA

<ИЗ № 10 ЖУРНАЛА «СОВРЕМЕННОК», 1856>

Кёр-оглу, восточный поэт-наездник. Полное собрание его импровизаций с присовокуплением его биографии. Перевод с английского С. С. Пенна. Тифлис. 1856 г.

Кёр-оглу, в переводе сын слепца, герой множества поэтических преданий, до сих пор свежих в северной Персии и на Кавказе, был уроженец северного Хорасана, живший во второй половине XVII столетия. Прежде всего он прославился счастливыми разбоями на торговых дорогах, ведущих из Персии в Турцию, между городами Хой и Эрзерумом; но существенная причина его нынешней знаменитости — его поэтические импровизации, которые рано перешли в массу народа и доселе неизменно сохраняются в устах кёр-оглу-ханов, то есть певцов, прославляющих подвиги Кёр-оглу. Кочующие татарские племена северной Персии с особенной любовью сберегают предания об его романической жизни: Кёр-оглу их национальный герой и вместе с тем их национальный поэт. Военные песни его высоко ценятся на Востоке; по отзыву известного ориенталиста Ходзько¹, могучий язык, бурная музыкальность стиха в его песнях составляют какую-то дику и смелую гармонию, непередаваемую ни на какой другой язык. При каждом решительном моменте жизни, всего чаще перед битвой со врагами, Кёр-оглу пел обыкновенно импровизацию. Привилегированные рапсодисты Кёр-оглу повторяют эти импровизации, объясняя при этом, когда и по какому случаю они получили свое начало, и, таким образом, составилсЯ целый эпический цикл сказаний об этом герое, разделяемый обыкновенно на меджлисы, то есть беседы, которые рассказываются порознь, по желанию слушателей.

Переведенные г. Пенном сказания о Кёр-оглу собраны были по местным преданиям в разное время на персидско-турецком наречии известным ученым ориенталистом Александром Ходзько и изданы им в книге: «Adventures and improvisations of Kurrowglou

the Bandit Minstrel of Northern Persia» *. Рапсодии записаны были г. Ходзько со слов так называемых кёр-оглу-ханов, обладающих необыкновенной памятью и готовых, по требованию слушателей, несколько часов сряду безустали рассказывать все похождения своего героя. По словам нашего переводчика, который сам имел возможность выслушать двух закавказских кёр-оглу-ханов, это собрание не подлежит никакому сомнению относительно верности в передаче рассказов и импровизаций.

Личность Кёр-оглу мало, впрочем, известна с чисто исторической точки зрения; и факты и самое поприще его деятельности еще не были определены с достаточной точностью. В Азербайджанской провинции, в Саламасской долине, указывают до сих пор остатки крепости Шамли-Биля, нередко упоминаемой в этих сказаниях и будто бы построенной Кёр-оглу в эпоху его славы. Народные предания называют, однако, и многие другие места, бывшие резиденцией знаменитого наездника. Г. Пенн указывает несколько таких местностей около Тифлиса и Эривани и думает, что это различие преданий объясняется тем, что Кёр-оглу часто переменил место своего жительства и беспрестанно перекочевывал из одной провинции в другую. Быть может, эта неясность преданий проще обуславливается другими причинами: как герой национального эпоса, Кёр-оглу всюду в народе находил одинаковое сочувствие; при обособлении народных масс, обладающих одним и тем же эпосом, каждое отдельное племя стремится усвоить себе личность общего национального героя и соединяет имя его или с какими-нибудь частными событиями и именами, или с другими знакомыми местностями, то есть принаравливает поэтические сказания к своей собственной обстановке. Примеры подобных явлений очень обыкновенны во всяком народном эпосе, в позднюю пору его развития, когда уже исчезает память об историческом лице и хранится только заманчивый образ народного героя, к которому и старается примкнуть новейшее сказание.

Характеризуя поэзию Кёр-оглу, английский издатель этих сказаний проводит параллель между ними и Царственной книгой Фердоуси²; он отдает последней преимущество как законченной и художественной эпопеи; но в импровизациях Кёр-оглу находит больше отражений действительности в характере и понятиях самого героя и во всех обстоятельствах его подвигов. Вся обстановка, в которой действует Кёр-оглу, по словам того же издателя, с удивительной верностью рисует дикие нравы кочевых племен, доселе сохраняющих страсть к грабежу и хищничеству не из одних расчетов корыстолюбия, но и из любви к удалым похождениям. Оригинальная личность этого героя чрезвычайно типично соединяет в себе особенности национального характера: дикий и необузданный, он верен данному слову; он убежден в собственном

* Приключения и импровизации Кёр-оглу, разбойника-поэта Северной Персии. — *Ред.*

превосходстве над другими, считает себя вправе властвовать над всеми, кто его ниже, и потому он вечный враг тому, кто не уступает ему первенства в храбрости и богатстве. Он любит наслаждения и остается спокоен, окруженный своими одалисками, когда имеет средства угощать множество гостей и держать толпы невольников; но минутная прихоть или истощение богатств вдруг отрывают его от этого ленивого бездействия, и он снова бросается в кипучую жизнь разбоя и воинственных подвигов. Во взгляде на женщину Кёр-оглу остается в высшей степени верен восточным понятиям: не ищите у него никакого идеального чувства; он не понимает его и смотрит на женщину, как на товар, на вещь, которая доставляет ему удовольствие и которую он может бросить тотчас же, когда она надоест ему. Она бывает дорога для него только тогда, когда обладание ею соединяется с какой-нибудь новизной или опасностью. Но что всегда сохраняет горячую привязанность прихотливого героя, это конь его Кэрат. Кёр-оглу ставит чудного коня выше всех богатств своих; ни один подвиг не был совершен им без этого спутника, который не один раз выручал его из самых опасных, даже безнадежных положений. Элегия, в которой Кёр-оглу оплакивает потерю любимого коня, считается одним из лучших украшений новейшей восточной поэзии. Без Кэрата нет места и подвигам, с его смертью не может существовать и сам хозяин.

Разбой, странствия и похищения, битвы один на один и с целыми толпами неприятелей, хитрые обманы — вот на чем вертятся все подвиги прославленного героя; народная фантазия сумела поставить их на такую высоту, что рассказ переходит в эпопею, богатую поэтическими достоинствами. Причина этого явления скрывается в том, что содержание рассказов вполне соответствует национальному характеру и, потеряв оттого свою частность и исключительность, могло перейти в состав общенародных поэтических вымыслов; это самое дало рассказам Кёр-оглу возможность обширно развиваться и в формальном отношении. Чтобы познакомить несколько читателей с этой оригинальной поэзией, приводим один эпизод из походов Кёр-оглу. Нигара, дочь султана Мурада, увлеклась славой молодого героя и нетерпеливо желала увидеть его: встретив случайно Белли-Ахмеда, раба Кёр-оглу, Нигара написала письмо к шамли-бильскому наезднику и просила, чтоб он похитил ее из Истамбула; она дала Белли-Ахмеду свой медальон в доказательство истины своих слов. Кёр-оглу заинтересован был этим приключением, приехал в Истамбул и, воспользовавшись отъездом Мурада в Мекку, явился в гарем как хаджи, будто посланный султаном к дочери. Княжна и не подозревает в этом страннике Кёр-оглу, который не скоро открыл свое настоящее имя.

«Кёр-оглу беспрепятственно вошел в гарем и направился прямо к комнатам Нигары. Внутренний двор гарема благоухал разнообразными цветами; тут были и пруды и водопады. Кёр-оглу сложил свой плащ вчетверо, разостлал его на берегу одного пруда

и, усевшись, занялся рассматриванием садов, посреди коих стоял дворец Нигары, окруженный великолепными киосками. В одном киоске он заметил княжну, с несколькими прислужницами, она сидела у открытого окна и пила вино...

Кёр-оглу, увидя в комнате княжны суету, сорвал с головы чалму и, отбросив ее в сторону, вынул из кармана остроконечную шапку и надел ее набекрень; затем скинул с себя одежду муллы и, расправив складки своего платья, сшитого из сукна темнооливого цвета, грациозно повязал себе стан шалью сверх пояса, из-за которого виднелась рукоять кинжала, украшенного бриллиантами, ценой до 4 000 туманов; потом вынул из кармана свой трехструнный чонгури, прикрепил к нему ручку и, настроив его, начал ударять по нем щеткой, называемой *месроб*.

Между тем княжна Нигара пришла к пруду и вместо хаджи увидела мужественное лицо с длинными до ушей усами — настоящий тип совершенного «лютне».

«— Ах ты, негодная, — сказала она, обращаясь к служанке, — где же тут кавуш?»

«— Клянусь аллахом, это тот самый хаджи, у которого давеча голова была повязана чалмой».

«— Ну, так спросить этого музыканта, куда девался хаджи?»
Девочка подбежала к Кёр-оглу и спросила о хаджи.

«— Прочь, негодная девчонка! — сказал тот с сердцем. — Здесь не было никого, кроме меня!»

Невольница, возвратясь к княжне, уверяла ее, что это и есть хаджи, виденный ею; но теперь он переоделся в музыканта. Княжна рассердилась не на шутку.

«— К доброму же хаджи ты привела меня: всего вернее, что он тебя поцеловал. — Эй, давайте сюда трости!»

Бесчисленные удары по пятам посыпались на бедную. Кёр-оглу, тронутый ее невинностью, подошел к Нигаре и громко приветствовал ее:

«— Салям-алейкум!»

Княжна еще более обиделась дерзостью незнакомца и не отвечала ему. Это сильно задело честолюбие нашего героя: он сказал:

«— Княжна, полно наказывать невинную».

Потом взял чонгури и запел.

И м п р о в и з а ц и я: «Я сказал ей салям-алейкум, но она не приняла моего приветствия. Я *динарный* (грошовый) *мегшук* (любовник); у меня нет ни серебра, ни золота. Я не так богат, чтобы владеть подобным тебе жемчугом».

При этих словах Нигара подошла к певцу.

«— Разбойник, наглец, негодяй! Если бы ты имел даже 1 000 туманов, кто бы и тогда осмелился положить меня на твои плечи?»

Здесь она толкнула певца ногою.

«— Княжна! — сказала одна из прислужниц. — Нам жаль

твоей стройной ножки, которая может быть ушиблена о грудь этого несчастного».

Услышав это, Кёр-оглу произнес:

«— Глупая девчонка! почему ты думаешь, что грудь моя не дороже ножки госпожи твоей?»

Потом, обращаясь к княжне, он запел:

И м п р о в и з. «Грудь твоя дышит благоуханием фиалки и гиацинта; в уединении своем ты расцветаешь подобно им. Ты луч моего сердца. Небо да отомстит тебе за то, что не внимаешь моим страданиям!»

В это время груди Нигары, как два наливные яблочка, подымались и сверкали такой белизной, перед которой был ничто первый снег на вершине горы *Савалан*. Кёр-оглу на минуту задумался, но скоро ободрился и продолжал:

И м п р о в и з. «Нельзя сравнить белизну эту ни с серебром, ибо серебро, подобно распутной женщине, переходит из рук в руки и скоро изнашивается; ни со снегом, потому что снег тает и исчезает от первых лучей солнца. Лучше сравнить ее с бумагой... да, с бумагой, которая хорошо сохраняется, если положить ее на грудь, и не теряет своей белизны... Ты сад, благоухающий фиалками и гиацинтами. Зачем ты ранила грудь мою! Перси твои подобны свитку белой бумаги; не мешай же трости моей начертать на них повесть о любви».

Княжна, слушая эти песни, оставалась неподвижной; Кёр-оглу продолжал:

И м п р о в и з. «Ты самый свежий плод весеннего сада! Ты благоухающий гранат и айва. О Нигара! ты солнце души Кёр-оглу; не думай, чтоб вся вселенная была достойна тебя...»

Когда Кёр-оглу получил письмо и медальон княжны через Белли-Ахмеда, он был несколько пьян и не мог запомнить приключений Нигары в лавке зеленщика. Княжна вспомнила теперь это обстоятельство и велела своим прислужницам наказать наглеца. (Да избавит аллах всех и каждого от когтей и пальцев сердитой женщины!) Исполняя волю госпожи, они с остервенением бросились на Кёр-оглу и ничего не могли сделать.

«— О княжна! — произнес Кёр-оглу: — Если тебе не жаль меня, то сжался хоть над своими прислужницами; у них ноги и руки затвердели и распухли от боли».

«— Девушки! — сказала княжна: — Идите и подкрепите себя вином, а потом вернитесь сюда для наказания этого усатого самозванца».

Проходя мимо Кёр-оглу, Нигара бросила на него пристальный взгляд и удивилась его мужественной осанке и красоте. Конечно, это не ускользнуло от проницательности нашего героя. Забыв боль, причиненную ему ударами невольниц, он взял чонгури и импровизировал следующую песню на очи красавицы.

«— О Нигара! очи твои подобны глазкам молодой газели. Ужели мне суждено видеть грудь твою, обращенную в камень? Ты

убила меня. Да польются горькие слезы из очей твоих! Приказывай, предай меня лучше во власть палачей, но не открывай мою тайну. О, если бы ты захотела помчаться, с быстротой ветра, на коне из кохланского племени, ты бы почувствовала себя в полном блаженстве».

Нигара велела и себе подать вина. Кёр-оглу, смотря на нее, импровизировал:

«Прикажи убить меня! Пусть слезы высохнут в моих глазах — это их ручей. Вели наполнять стаканы: выпей крови моей. Вот заздравный кубок в честь тебя!»

Кёр-оглу замолк и подумал: «Я одолел столько препятствий, приехал в Стамбул. — Что же еще? По крайней мере, в награду за все это, нужно найти мне, взамен Нигары, десяток подобных ей красавиц. Это было бы значительное приращение к тому, что есть у меня в Шамли-биле. Каждую из них я взял бы в вознаграждение сегодняшнего неуспеха». Потом он запел:

И м п р о в и з. «Я блуждал по садам, по базарам. О пятнадцать красавиц подобных Нигаре! идите сюда и покажитесь Кёр-оглу».

Кёр-оглу взглянул на княжну: взор ее исполнен был любви и неги. Она, от времени до времени, брала разные лакомства, улыбаясь и выказывая свои коралловые губы. Герой наш сказал про себя: «Если я не сыграю чего-нибудь при этом случае, то ни я, ни талант мой не стоят и динара». Вслед за этим он настроил чонгури и запел:

И м п р о в и з. «О, госпожи мои прекрасные! Опять взошло мое солнце, — Нигару я вижу вновь. Слезы радостно льются из глаз моих. Посмотрите, как она убрала свои черные волосы, падающие на ее нежные плечи. Да, вот она пришла и, подобно стеблю, колеблется всем станом. Неужели я могу еще надеяться на любовь? О! мысль о тебе посеяла надежду в груди моей. Я вижу мою Нигару; одной рукой она ест лакомства, а в другой держит хрустальную чашу, полную вина. Она пришла пленить меня своей красотой; она пришла осушить до иссякания льющиеся из очей моих слезы. Княжна Нигара пришла опять, чтоб убить Кёр-оглу».

Когда Кёр-оглу перестал петь, Нигара, подзвав невольниц, напустила их на него снова. Удары посыпались со всех сторон.

Кёр-оглу упал на землю и, стоная от боли, незаметно пополз к пруду и бросился в него, держа чонгури над головой, добрался до середины фонтана, бывшего из-под мраморного столбика, и уселся там.

Повинуясь приказаниям госпожи своей, невольницы стали кидать в него камнями. Терпение Кёр-оглу истощилось; он сказал:

« — О Белли-Ахмед! если богу угодно будет вынести меня отсюда живым, я сожгу твоего отца и тебя самого; ты обманул меня — она никогда не любила Кёр-оглу. Затем, обратясь

к княжне, он произнес: — Госпожа! позволь мне пропеть арию, которую я только что припомнил, и когда окончу ее, ты можешь убить меня».

И м п р о в и з. «О госпожа! Я влюбился в молодую красоту и сделался самым неистовым сумасшедшим. Страсть обуяла меня внезапно, и я кружусь около девы, наделенной очами газели. Если бы я знал ее жестокость, то убегал бы подобной любви. Теперь я должен питаться горестью и стенаниями, как насущным хлебом. Пощади меня, умерь свою жестокость и умилившись надо мной».

При этих словах грудь Нигары забила сильнее и сильнее. Кёр-оглу продолжал:

И м п р о в и з. «Солнце взошло высоко над горой, с востока. Она душистый гюлистан (цветник); на ее ланитах пылают розы. Глупец! не осмеливайся поднимать взоры на этот любовный сад. Какой счастливец удостоится сорвать эти розы?..»

Нигара слушала певца с возрастающим удовольствием.

И м п р о в и з. «Позволь Кёр-оглу вкусить свежесть губ твоих. Человек, раз прикоснувшийся к твоему стану, делается бессмертным. О Нигара! я раб твой, в счастье и несчастье...»

В нашей литературе очень мало известны в переводах произведения восточной поэзии, так что нельзя не благодарить г. Пенна за его труд. К переводу приложены ноты мотивов, которые слышны при пении импровизации Кёр-оглу. Издание книги опрятно.

Грамматика старославянского языка. Петра Перевлесского. Второе исправленное издание. СПб. 1856 ¹

Первое издание «Грамматики» г. Перевлесского напечатано было в 1851 году. В первом опыте г. Перевлесского по славянской филологии было значительное количество недосмотров; исправив их, он много улучшил свою книгу. Второе издание, кроме того, очень расширило объем учебника, не знаем, в пользу ему или во вред. Автор с большой подробностью говорит об обеих славянских азбуках, разбирает до мелочей их разницу между собой, приводит образцы для чтения древней и новой кириллицы и даже глаголицы (стр. 75—86), с чтением которой, заметим, мало знакомы и сами специалисты. Далее излагает он учение о формах старославянского языка, руководствуясь большей частью новыми исследованиями, а иногда и собственными «домыслами» (?), наконец приводит систему старославянского синтаксиса.

Книга г. Перевлесского, в нынешнем своем виде, имеет положительные достоинства как свод, хотя и ограниченный пределами учебника, новых исследований о формах церковно-славянского наречия. Относительно способа, как должно пользоваться новейшими изысканиями ученых, сделаем автору одно замечание:

в книгу, предназначенную быть руководством для начинающих, очень неудобно вводить спорные и темные вопросы предмета, как делает иногда автор, потому что дело учебника — передать только несомненные выводы науки и дать ясное представление о предмете, а подобным нерешительным изложением замедляется для ученика усвоение фактов и понятий. Самое изложение данных науки должно быть определено известными границами и не должно допускать ненужных подробностей, какие вошли, например, у г. Перевлесского при описании древних памятников письменности и в других случаях: эти подробности делаются только излишним отягощением памяти. Наставники, которым придется употребить руководство г. Перевлесского, вероятно, согласятся с нашим мнением и пожелают, чтобы в новом издании автор, оставив или даже распространив программу своей книги, удержался от накопления в нее фактов, неважных для существа преподавания.

Историко-критические изыскания Юрия Венелина. Издание Ивана Мольнара. Москва. 1856¹

Г-н Мольнар — родственник покойного Венелина и был ближайшим его другом. Делая новое издание сочинений даровитого, хотя увлекавшегося, изыскателя, — он не только хочет «удовлетворить требованию публики», напрасно отыскивающей «Древних и новых Болгар», первое издание которых давно распродано, он также «исполняет долг любви к покойному».

Г-н Бессонов, известный своими «Сборниками болгарских песен» и другими трудами, относящимися к болгарскому наречию, написал предисловие к изданию г. Мольнара. Он довольно подробно рассказывает жизнь Венелина и излагает свое мнение о достоинстве его трудов. В последнем деле г. Бессонов поддается увлечению, конечно излишнему, но легко оправдывающемуся замечательной остротой ума, который повсюду блещит у Венелина, даже в самых странных его ошибках.

В первом томе издания г. Мольнара заключается известнейшее из сочинений Венелина: «Древние и новые Болгары» (второе издание). Надобно желать, чтоб издание было доведено до конца. Общие выводы Венелина, конечно, ошибочны; но многие из его частных замечаний очень верны, и потому каждому славянскому и каждому исследователю русской истории необходимо иметь под руками его изыскания, которые до сих пор оставались разбросанными по периодическим изданиям, чем затрудняются справки.

Путевые заметки. Давида Мацкевича. Киев. 1856

Г-н Мацкевич в 1846 году был в Ревеле, в 1848 г. в Дерпте, в 1851 г. приехал из Петербурга в Киев. О каждом из этих городов и о нескольких других, встречавшихся по дороге, он тогда

же набрасывал на бумагу по несколько страниц и тотчас печатал эти заметки в газетах, а теперь перепечатал их в отдельной книжке и без всяких изменений.

Любопытнейшая страница в книжке — страница между заглавным листом и предисловием. На этой странице мы читаем: «Марье Ивановне Карповой, рассказ о странствиях, приведших под сень благодатной, тихой пристани, посвящает автор».

Это в «Заметках» единственный эпизод, из которого читатель может узнать что-нибудь новое. Все остальные заметки далеко уже не имеют такого интереса.

Четвертое прибавление к росписи русским книгам для чтения из библиотеки Петра Крашенинникова.¹ Продолжение к прежде изданной росписи А. Ф. Смирдина. СПб. 1856

«Роспись российским книгам» Смирдина² очень памятна нашим библиографам: после «Опыта» Сопикова³ это единственная книга, где собран значительный запас библиографических данных: ни один из частных книгопродавческих каталогов не может сравниться с ней в этом отношении. Для изучающих историю новой русской литературы «Роспись» важна еще тем, что служит указателем к обширной библиотеке, в которой можно найти и самые книги, поименованные в этом каталоге. Эта библиотека для чтения, принадлежавшая прежде известному книгопродавцу Смирдину, существует и теперь под фирмой П. Крашенинникова и до сих пор увеличивается с каждым годом вновь выходящими книгами. Смирдинская библиотека составила главным образом из богатого собрания книг, принадлежавшего книгопродавцу В. Плавильщикову; тогдашний состав ее можно видеть из каталога, изданного Плавильщиковым в двадцатых годах. Перешедши потом к Смирдину, библиотека значительно увеличилась в объеме, и для нее составлен был в 1828 году Василием Анастасевичем новый каталог, именно известная «Роспись». Впоследствии к ней изданы были прибавления — первое (1829 г.) и второе (1832 г.) Смирдиным, третье (1852 г.) — нынешним владельцем библиотеки, который оставляет ее неприкосновенной на прежнем основании, как библиотеку для чтения. Напечатанное теперь четвертое прибавление включает в себе книги, выходившие в последнее время, или такие старые издания, которых не было в библиотеке и которые потому не были внесены в каталог. В настоящее время количество книг в библиотеке восходит до восемнадцати тысяч четырехсот названий; если принять в соображение число изданий одной и той же книги, показанных в каталоге под одним номером, и многотомные издания, особенно журналы, то число томов втрое или вчетверо превзойдет цифру названий и представит такое собрание русских книг, которое может уступить в об-

ширности только русскому отделению Публичной библиотеки. Пользоваться этой библиотекой очень удобно, и она, конечно, всегда будет по своей общедоступности для читателей приносить большую пользу, лишь бы только сохранилась в одних руках и дополнялась старыми и новыми книгами, как это было до сих пор.

Повести и рассказы, И. С. Тургенева. Три части. 1856

В этом издании собраны все повести и рассказы г. Тургенева, за исключением его «Записок охотника». Все эти повести и рассказы более или менее знакомы читателям, потому что они печатались в журналах. Мы слышали, что будут изданы драматические произведения г. Тургенева. В первых книгах следующего года мы надеемся поместить разбор этих повестей и рассказов, в которых столько ума, тонкой наблюдательности и поэзии, а теперь поблагодарим за них издателя. Он выполнил свое дело прекрасно. Издание отличается большим вкусом: бумага и шрифт превосходные. Это издание начинается одною из первых повестей г. Тургенева — «Андреем Колосовым», появившейся в 1844 г. в «Отечественных записках», и оканчивается «Фаустом», который два месяца назад тому был напечатан в «Современнике» и который теперь переводится в «Revue des Deux Mondes».

Политическая экономия настоящего и будущего. Сочинение Бруно Гильдебранда¹. Перевод М. П. Щепкина. С.-Петербург. 1860

Книга Гильдебранда в «Энциклопедии Государственных наук» знаменитого публициста Роберта Моля² рекомендуется как сочинение в высшей степени остроумное и отличающееся изложением особенно (?) поучительным и даже грандиозным (!). Следовательно, необходимо перевести ее на русский язык, на который переводятся часто сочинения, не имеющие не только грандиозности и особенной поучительности, но даже и просто — здравого смысла.

После такого отзыва Роберта Моля о книге Гильдебранда нам сильно хотелось познакомиться скорее с возвышенностью и моральностью идей, заключающихся в творении «одного из даровитейших представителей (как утверждает г. Щепкин) современной науки о народном хозяйстве», и посредством перевода на русский язык, ставших наконец доступными для той части русской публики, которая не имеет удовольствия быть знакомой с отечественным языком Гильдебранда. Но прочитавши его книгу, мы не встретили в ней ничего ни особенно поучительного, ни особенно нового, быть может потому, что Гильдебранд не кончил еще своего сочинения и не успел раскрыть собственного учения, которое дол-

жно, без всякого сомнения, отличаться грандиозностью и моральностью своего содержания, а изложил одни лишь существующие политико-экономические теории с критической оценкой их. Поэтому от предлагаемой нам книги мы имеем полное право ждать того только, чтобы критический взгляд на вещи Гильдебранда отличался правильностью и беспристрастием. А правильности-то и беспристрастия мы и не нашли в ней, что и разрушает эффект ее грандиозности и поучительности и охлаждает возбуждаемые ею ожидания.

Главная заслуга Гильдебранда состоит, как надобно думать, в том, что он принимает на себя роль солидного наставника незнакомых с действительной жизнью социалистов; жаль только, что Гильдебранд обнаруживает крайнюю несостоятельность своих понятий и склонность к пустому словоизвержению, когда вступает в борьбу с их положениями. Посмотрите, напр., как опровергает даровитейший представитель старой науки о народном хозяйстве³ отрицательную форму новых теорий. «Собственность⁴, — восклицает Гильдебранд, — первая стала источником личной, нравственной силы каждого человека. Она пробудила в нем глубокую и теплую привязанность к предмету и месту его деятельности, любовь к родине, отечеству. Она составляет основу семейства... Без нее нет ни домашнего хозяйства, ни семейного духа, ни воспитания детей, ни развития высшего нравственного образования из поколения в поколение. Она есть могущественнейший двигатель развития человеческого духа и пр., и пр.» (стр. 200)⁵. Можно ли более несчастным образом полемизировать, и есть ли что-нибудь дельного в этой тираде, написанной по всем правилам российских реторик? Правда, как красноречие для красноречия, она может быть помещена в каких-нибудь семинарских учебниках за образец для распространения темы «собственность благодетельна для человечества», но как серьезное рассуждение солидно мыслящего человека, говорящего «о предмете, вызывающем на серьезное размышление», она не стоит внимания. Поставьте на место собственности что-нибудь другое, хоть какую-нибудь добродетель, и вся сумма слов, подобранных под собственность, подойдет и к этой добродетели. Патриотизм, напр., есть первый источник личной, нравственной силы каждого человека. Он пробуждает в нем глубокую и теплую привязанность к предмету и месту его деятельности, любовь к родине и пр. Совершенно одно и то же. Подобным пустословием извинительно еще заниматься школьнику, упражняющему свои силы в литературных приемах, но непростительно для человека ученого и читавшего много дельных сочинений⁶, каким кажется Гильдебранд.

Та же склонность к риторике и идиллическому мирозерцанию открывается в Гильдебранде и тогда, когда он пишет красноречивые панегирики настоящей цивилизации, раскрывает пред нами преимущества пред сельскою жизнью жизни городов, в которых «существуют огромные водопроводы, парки и скверы,

переносящие в них свежий воздух деревень», описывает благодетения, оказанные человечеству изобретением машин, «вырвавших рабочие классы из лени и невежества, из тупого и бессмысленного коснения, пробудивших в них стремления к более высокому и достойному жребию в истории, вселивших в них духовные и нравственные свойства, пробудивших в них сознание того, что и они содействуют своими умственными и физическими силами великому развитию истории» (стр. 188) ⁷. Вместо того, чтобы писать подобного рода пустозвонные фразы, следовало бы познакомиться лучше с действительной жизнью и спросить рабочие классы, в самом ли деле машины пробудили в них сознание своего человеческого достоинства, вырвали их из тупого и бессмысленного коснения и пр., и хладнокровнее вдуматься в то, как и самые благотворные открытия гения, при аномальности существующих порядков, могут делать зло большинству и вести совершенно к противоположным целям. Вся выписанная нами красноречивая тирада станет действительно дельною и правдивою только тогда, когда все классы общества будут в состоянии равномерно пользоваться благодетельными открытиями гения, когда эти открытия станут служить действительно общему благу, а не частным целям богатых капиталистов, когда ложное положение, в каком находится ныне человечество, изменится и станет более соответствовать требованиям разума — а ведь так называемые утопические учения именно и стремятся к этой цели.

Но они не исполнимы, — восклицает Гильдебранд, — и сделал бы, скажем мы, большое благо человеческому роду, если б потрудились доказать основательнейшим образом свое положение. Добрые люди, занимающиеся теперь социалистическими бреднями, не стали бы понапрасну терять время, а занялись бы чем-нибудь дельным. Выходит, что каждый социалист похож на Манилова, раздумывающего о том, как хорошо будет ему, когда начальство узнает о его дружбе с Чичиковым, призовет их к себе и пр. Но дело-то в том скорее, что сам автор разбираемой нами книги отстал немного от современной мысли и слишком сильно привязался к рутинным понятиям. А известное дело, что человек, отстающий от чего-нибудь, непременно придумает и какую-нибудь благовидную причину своей отсталости: вообразит себе, что дальнейший шаг вперед невозможен, и уж не двинет ни рукой, ни ногой. Исполнимость или неисполнимость, возможность и невозможность — понятия слишком неопределенные. Что для одного века невозможно и неисполнимо, то для другого совершенно исполнимо и возможно. Есть невозможность, заключающаяся в самой сущности вещей, так сказать невозможность абсолютная, хотя и тут разнообразятся взгляды людские на сущность вещей. Одни утверждают, например, что человеку нельзя по своему произволу распоряжаться законами природы, что солнцу нет дела до наших земных занятий, что его нельзя ни остановить, ни заставить идти скорее, хотя бы какому-нибудь страстно влюбленному юноше и

сильно хотелось скорее дожидаться назначенного ему вечером свидания, в какой-нибудь тенистой аллее, при свете слабо мерцающей луны, когда вся природа предается сладострастному сну, поют соловьи и пр., что подробно воспевают г. Греков⁸. А есть люди, говорящие противное. Бывает невозможность только относительная, заключающаяся в известных обстоятельствах, и при перемене их делающаяся совершенною возможностью. Чтоб люди приделали себе крылья и подлетали на них к луне, с целью помочь г. Страхову в решении вопроса, есть ли там жители⁹, — мы считаем это невозможным и никогда не осуществимым, но в том предположении, что человечество достигнет когда-нибудь возможности управлять по своему желанию аэростатами и будет летать на них из Петербурга в Москву, не видим ничего невозможного, потому что ни в природе, ни в сущности человека не находится ничего такого, что б опровергало наше убеждение.

Конечно, если Гильдебранд считает полное осуществление утопий невозможным только в настоящее время, и притом не по самой их сущности, а вследствие случайных обстоятельств, которые также имеют только временное существование, то мы с ним вполне согласны. Но нет, неисполнимость этих тенденций он видит не в тех случайных обстоятельствах, в каких находится ныне европейский мир, не в том, что еще сильны в нынешнем обществе остатки средневековых убеждений, а в самой сущности новой теории. Она представляется Гильдебранду неосуществимою потому, что ведь «все народы живут в разных странах света, имеют различные представления и понятия, нравы и обычаи, образованность и историю». А социалисты будто так неразумны и так близоруки, что не хотят и знать народности, предполагают везде одинаковые стихии и средства цивилизации и пр. и пр. Рассуждение, как видите, справедливое и проникнутое самыми прогрессивными, либеральными, гуманными тенденциями! Национальность, народность — тонкая штука! Но, г. Гильдебранд, вы в своем увлечении народностью разных народов забыли, что есть: «одна вещь, общая всем людям, столь различным по их странам, рождению, правам, цвету, по временам, характерам, языкам, чертам лица, наклонностям и чувствам, без всякого подобия во всем, и сходным только в этом (Байрон. Сарданапал). Эта вещь самая простая и естественная — стремление людей к счастью, удобствам жизни». И именно многое-то из обыкновений народа, многое-то из его истории и служит ему препятствием к счастливой жизни. На этом основании выходит, что и рабство южных штатов вещь очень хорошая, ведь она — продукт истории тех штатов; народ, по-вашему, привык к нему, и трогать его не надо? В том и дело, что выше всякой народности стоит еще общечеловечность. То, что истинно-человечно, истинно-разумно, найдет себе симпатию во всех народах, — за то мы и считаем китайцев людьми, чуждыми истории и прогресса, что они не принимают общечеловеческих идей, живут только китайскою, а не человеческою жизнью. Разум один и тот же под

всеми широтами и долготами, у всех чернокожих и светлорусых людей. Конечно, в американских степях живут другие люди, чем в русских деревнях, и на Сандвичевых островах обитают господа, не похожие на английских джентльменов; но ведь и русскому мужику и дикарю, так же, как высокопочтенному римскому кардиналу, хочется, думаем мы, есть, а затем, чтобы есть, хочется что-нибудь иметь. Стремление к улучшению своего положения составляет существенное свойство всего человечества. Если бы новые теории были противны природе человека, они и не пошли бы дальше той страны и тех людей, которым угодно было выдумать их, не стремились бы к ним все народы образованного мира. Если бы людские дела шли нормально, то военное положение, в каком находится ныне европейский мир¹⁰, давно бы прекратилось, и не понадобилось бы тогда обществу платить деньги за штыки и пушки. Неисполнимость мечтаний, как вам угодно называть их, заключается вовсе не в сущности самых «мечтаний», а в том отпоре, какой дают им элементы, поставленные историею в благоприятное положение. Впрочем, и сам Гильдебранд чувствует неловкость своего нападения со стороны разнообразия человеческих характеров, климатических условий и старается найти что-нибудь посильнее и поблаговиднее. «Предположим, — говорит он, — что на свете не существует естественного и необходимого разнообразия в человеческой образованности, то и тогда все настоящие и будущие планы общинного хозяйства неприложимы к действительной жизни»¹¹. Но тут автор предается просто пустословию. Уж если он успел доказать, что разные народности мешают войти в жизнь новому экономическому порядку, то следовало бы тем и ограничиться; зачем же дальше вести свои доказательства? Кто ж не знает, что на свете есть и русские, и немцы, и французы: зачем же предполагать, что будто их нет? А! верно совесть подсказала, что вышеприведенный аргумент очень слаб. Это дело другое. Посмотрим, каковы следующие. Новые теории, как известно, учат, что право пользования благами жизни должно определяться личными заслугами каждого, что тунеядцев не должно существовать на белом свете, что труд одного должен быть направляем не к тому, чтоб подрывать благосостояние другого, а к тому, чтоб возвышать его, — одним словом: они хотят ввести гармонию в людские отношения. «Для этой цели, — утверждает Гильдебранд, — необходим конечно закон, который определял бы как отношение личных услуг и наслаждений к целой общине, так и взаимное отношение их между собою, и такая сила, которая поддерживала бы этот закон. Но ни то, ни другое невозможно». Отчего же? — «Сумма всех услуг должна быть равна по крайней мере сумме всех наслаждений; следовательно, закон уравнивания предполагает знание совокупных потребностей и услуг всех членов общины. Но эти услуги можно узнать только из их последствий, а так как способности и потребности людей постоянно изменяются, то никак нельзя наперед предугадать и этих последствий. Следова-

тельно, даже нельзя найти и основания для закона уравниения...» Следовательно, продолжим мы от себя уже, человечество напрасно хлопочет об уравниении прав людских, о пропорциональном отношении между трудом и наслаждением, следовательно ему остается только сложить руки и преклониться пред фаталистическим фактом неравномерного отношения услуг к наслаждению, ведь и основания-то для этого уравниения вовсе нет. Положим опять, продолжает Гильдебранд, что найден этот уравнивающий закон, но невозможно найти тогда такую силу, которая поддерживала бы всегда господство уравнительного закона. Эта сила должна быть сильнее всех членов общины, чтоб могла обуздывать поползновение к непослушанию оной. А так как известное дело, что утописты на место всякой другой силы ставят силу большинства и разума, то существование ее предполагает, что все отдельные лица добровольно подавят в себе свою индивидуальность и откажутся от своей личности. С другой стороны, если власть над общиною будет вручена отдельным лицам и будет основана диктатура, то не будет ручательства в том, что все члены общества подчинятся этой диктатуре, но и потребуются еще другая власть, которая наблюдала бы за первою, третья — за злоупотреблениями второй и т. д. — точь-в-точь, как у полковника Кошкарева¹² контора построений должна наблюдать за конторою донесений, контора донесений за конторою рапортов и т. д. в бесконечность. Сильнее ли эти аргументы предшествующего аргумента, доказывавшего несостоятельность новых учений тем, что существуют на свете разные народы, имеющие свою собственную историю, свои обыкновения, свою цивилизацию и пр.?

Абсолютно справедливый закон уравниения заслуг с наслаждениями, какой представляет себе Гильдебранд, составляет идеал стремления нашего к справедливости. К достижению этого идеала человечество будет приближаться вековыми опытами, — ведь и новый порядок отношений будет иметь свою историю, свой прогресс: разве уж должен он так и замереть в одних формах и стесняться ими вечно развивающийся дух человеческий? Сидеть сложа руки потому только, что дело, за которое надо приняться, слишком громадно, — это смешно и недобросовестно. Если мы сделаем хотя один высший шаг к более правильному определению уравнительного закона услуг с наслаждениями, если в сравнении с настоящим порядком вещей этот закон является более разумным, то и слава богу — мы и тем довольны. Во имя высших идеалов отвергать какое-нибудь хотя бы и не вполне совершенное улучшение действительности — значит слишком уж идеализировать и потешаться бесплодными теориями. Мы знаем, что есть много почтенных людей, воображающих, будто по сущности своей они не люди, облеченные плотью и кровью, а какие-то бесплотные существа, обязанные жить на высших планетах, и вследствие этого воображения задающие себе такие идеалы, которых трудно достигнуть и высшим-то существам. Дело у них большею частью

кончается тем, что после напряженных усилий подняться до своего идеала, они опускаются так, что уже вовсе не имеют пред собою никакого идеала.

Автора «Политической экономии настоящего и будущего» тревожит еще то опасение, что если и будет отыскан уравнилельный закон, так где взять силу, поддерживающую этот закон? Ответ на это очень прост: да она будет заключаться в том же самом законе. Если все члены общества будут довольны своим положением, если прежняя чрезмерная несправедливость между ними уничтожится, так зачем опасаться, будто люди, из худшего состояния поставленные в лучшее, будут нуждаться в силе, которая насильно заставляла бы их оставаться в лучшем положении! Нас скорее занимает другой вопрос: где берется сила поддерживать худой порядок вещей, как теперь сносят люди совершенное уничтожение своей личности? — Решение этого вопроса гораздо мудренее, чем предложенного Гильдебрандом. Ведь различного рода порядки, нуждающиеся во внешней силе для своей поддержки, могут существовать только при отсутствии здравого смысла в устройстве дел человеческих. Пусть здравый смысл будет основанием этого устройства, он же самый будет и силой, поддерживающей его.

Впрочем, Гильдебранд сознается, что мы живем в переходное время, в которое все настоятельнее чувствуется потребность в правильном распределении ценностей и в прекращении вражды между капиталом и трудом. Он не только не отвергает великой задачи нового времени, но даже считает ее величайшею задачею, какую когда-либо предстояло решить человечеству. Стало быть, он чувствует ненормальность того порядка вещей, в каком находится ныне человечество, и постарается поэтому в своей собственной политико-экономической теории, которая должна, без всякого сомнения, отличаться грандиозными и поучительными идеями, предложить средства для улучшения земного быта людей, гораздо лучше тех, какие предлагаются утопистами. Мы готовы от всей души приветствовать будущую теорию Гильдебранда, если только она исполнит ожидания. А в настоящее время рекомендуем пока русским читателям его книгу, как недурное пособие для знакомства с разными политико-экономическими теориями¹³, и просим их не соблазняться только находящимися в ней собственными соображениями автора «Политической экономии настоящего и будущего».

НЕКРОЛОГ ИВАНА ИВАНОВИЧА ПАНАЕВА¹

В воскресенье, 18 февраля, за двадцать минут до полуночи, скончался Иван Иванович Панаев. Для многочисленных его друзей и читателей не будет лишним сказать здесь несколько слов о его внезапной смерти. Ему было 50 лет (он родился в 1812 году), но он до последнего полугодия своей жизни был постоянно здоров

и бодр так, что возбуждал не без основания чувство зависти в людях одних с ним лет. Только в последние месяцы стал он иногда жаловаться на удушье; впрочем, оно его не настолько беспокоило, чтоб возбуждать серьезные опасения в нем или в ком-либо из окружавших его. За две недели до смерти (тоже в воскресенье) с ним сделался ночью сильный и продолжительный припадок удушья, какого прежде не бывало; доктор и близкие лица не отходили более четырех часов от его постели. После этого Панаев два дня чувствовал слабость и оставался дома, а на третий день обратился к обычному образу своей жизни: занятиям, прогулке и т. п. Уступая убеждению близких, он тогда позвал двух врачей, которые подвергли внимательному исследованию его грудь и нашли у него органическое повреждение в сердце. Они дали это понять жене покойного, сказав, что Ивану Ивановичу нужно серьезно беречься и лечиться, а ему заметили вскользь, что сердце у него не совсем в порядке. «Плохо, брат, — сказал Панаев за неделю до смерти одному из своих приятелей, обедая у него, — доктора не велят пить вина, есть прясностей: кажется, они находят у меня аневризм». — Что ж, славная смерть! — отвечал ему приятель. — Конечно! уж если умирать, так умирать вдруг, нечаянно!» Оба смеялись. По тону этого ответа и всего рассказа об аневризме видно было, что Панаев верил докторам разве вполчину и вообще смотрел на это легко.

В день смерти Панаев до 3 часов занимался у себя в кабинете и принимал посетителей. Глядя на него, разговаривая с ним, нельзя было и подумать, что смерть так близка к нему. Обедая он не дома, сделав до обеда два или три визита по делам журнала. Вечер также провел у одного из знакомых. Там был весел и разговорчив, пока не почувствовал некоторого стеснения в груди. Хозяин дома (приходящийся ему сродни) сказал ему, что тут же, между гостями, есть доктор. «Не беспокойтесь, — отвечал Панаев, — мне стоит только вытти на воздух и все пройдет», — и ушел. Это было в половине одиннадцатого. Домой воротился он в 11 часов, без десяти минут; когда человек отворил дверь, он сказал ему: «Веди меня, я не могу итти». Человек довел его до постели и раздел. Панаев приказал сделать себе горчишники и поставил их. В четверть 12-го воротилась из театра его жена и прошла прямо к нему. Он сидел на постели. «Со мной опять припадок, — сказал он ей, — но пожалуйста не беспокойся и не посылай за доктором; этот припадок гораздо легче, чем был тот, — пройдет так». Это было сказано твердым голосом. Однако, помня первый припадок, жена Панаева вышла и послала за доктором, а сама поспешила переодеться. Отсутствие ее из спальни мужа продолжалось не более четырех минут, и когда она воротилась, Панаев уже не мог говорить, он взял ее руку, прислонил к ней голову, и с ним началась агония. Явились вслед один за другим три доктора, но уже бесполезны были всякие пособия: Панаев был мертв.

Иван Иванович Панаев родился в 1812 году, 15 марта, в Петербурге, воспитывался в бывшем благородном пансионе, при С.-Петербургском университете, где и окончил курс в 1830 году, с правом на чин 12-го класса. Службу свою начал в министерстве финансов, оттуда перешел в министерство народного просвещения, где до 1845 года состоял при редакции этого журнала ².

По происхождению, по родству и связям он мог рассчитывать на блестящую служебную карьеру; понятия среды, в которой он вырос и воспитался, тогдашний взгляд на литературу (далеко отличный от нынешнего), общее желание родных, наконец и личный его характер, не чуждый в молодости суетности и тщеславия, — казалось бы, все соединялось, чтоб заставить Ивана Ивановича избрать эту торную дорогу, где ожидал его неизбежный и легкий успех. Однако любовь к литературе пересилила все эти причины, вместе взятые: Панаев очень скоро оставил службу, и никогда уже не возвращался к ней, и не жалел, что пренебрег служебной карьерой для литературы. Начало его литературного поприща легко проследить по его собственным сочинениям, особенно по «Литературным воспоминаниям» ³, но теперь мы пишем не биографию Панаева и потому скажем только, что Панаев, в течение своего тридцатилетнего поприща, имел в литературе нашей свою долю влияния и блестящего, заслуженного успеха: его повести: «Дочь чиновного человека», «Раздел имения», «Белая горячка», «Прекрасный человек», «Русский фельетонист», «Онагр», «Актеон», «Тля», «Барышня», «Барыня» и друг., помещавшиеся преимущественно в «Отечественных записках», — читались с жадностью ⁴. Когда, в 1846 году, некоторые сотрудники, задумав основать свой журнал, покинули «Отечественные записки», то в публике и в литературных кружках того времени говорили, что после Белинского важнейшею потерей для «Отечественных записок» будет потеря — Панаева. Публике известно, какие тесные отношения связывали Панаева с Белинским и как последний любил в Панаеве надежного товарища, даровитого писателя и честного человека. Мы обращаем внимание на этот факт потому, что Панаев, горячо любивший и уважавший Белинского, сам любил припоминать о своих отношениях к нему, он гордился ими ⁵. Вообще же говоря, Панаева любили все, кто только знал его: столько было в нем доброты, мягкости и той привлекательности, которая сообщается человеку преобладанием в нем хороших душевных свойств. Разумеется, были у него и враги.

Тернисто поприще журналиста, на которое вступил Иван Иванович в 1847 году и на котором простоял он в течение 14 лет во главе журнала, испытавшего столько превратностей, любимого публикою, нелюбимого большею частию литературных и журнальных кружков, не искавшего себе опоры ни в чем, кроме убеждений, которые признавал истинными и которым служить считал себя призванным. На этом поприще, при известных данных, легко приобретаются друзья — между читателями, и еще легче и не-

избежно приобретаются враги — между собратами по ремеслу и вообще пишущими. Если название врагов для этих последних слишком громко, то назовем их недовольными. Этих недовольных Панаевым в течение 14 лет, конечно, накопилось не мало. Все, кому журнал отказывал в помещении их статей и которые потом находили приют в других изданиях, все, о ком журнал отзывался неблагосклонно, а затем фаланга их сочувственников, — вот из кого составляются эти толпы недовольных. Отсюда неоспоримая истина, что если б явился журналист, соединяющий в себе все идеальные совершенства, то и о таком журналисте в общей массе текущих ежедневных толков преобладало бы суждение неблагосклонное, невыгодное для его репутации. Соображая все это, мы должны сказать, что недоброжелательство, клевета и вообще всякие неблагоприятные посягательства коснулись Панаева даже менее, чем можно было ожидать в его положении. А смерть мгновенно положила предел и этим посягательствам, пробудив сознание справедливости, присущее каждому. Глубокое всеобщее сожаление, с которым встречена была внезапная весть о смерти Панаева в Петербурге (где он постоянно жил и где он был одним из популярнейших людей, каждому известных если не по деятельности, то хоть по имени); многочисленные толпы народа, всех званий, от лиц значительных до простолюдинов, приходившие поклониться Панаеву в течение трех дней, когда тело стояло в его кабинете; наконец огромное стечение публики, присутствовавшей при отпевании тела покойника в Преображенском соборе и провожавшей гроб его (несенный на руках, перемежавшимися почитателями Панаева до Невского монастыря), — все это показало, что истинные заслуги покойного поняты и оценены, что общество никогда не переставало уважать в нем даровитого, честного деятеля, до последнего дня жизни оставшегося верным своему призванию, по мере сил!

Да, действительно, — независимо от даровитости, степень которой каждый вправе определять по-своему, это был истинно честный, кроткий, незлобивый человек. Как литератор, он представлял собою нечто особенное: он смотрел на дело, которому посвятил свою жизнь, серьезнее, чем многие думают, и постоянно работал над собою, стараясь о собственном совершенствовании, — это факт, известный всем, кто знал его долго и близко. Не о многих из людей, как бы богато ни были они одарены, — можно сказать то же самое. Убеждения его не застывали в неподвижную форму с приближением старости; симпатии его в 50 лет, как и в 25, были на стороне молодого поколения.

Вечная память тебе, честный, бескорыстный человек, добрый товарищ, полезный общественный деятель! Уверенность, что русское общество из глубины души повторит за нами эти слова, смягчает несколько горечь потери, которую мы оплакиваем. Нас эта потеря застигла слишком неожиданно и потрясла глубоко. Да! и ты умер рано, ты мог бы еще жить и работать с нами...

За четыре месяца до своей смерти, провожая на кладбище Добролюбова (положенного в дубовый необитый гроб), Панаев между прочим заметил: «Я желал бы, чтоб меня положили в такой же гроб». Это желание его было исполнено. Похороны Ивана Ивановича не сопровождались пышностью, кроме той, которая сообщается погребальной процессии присутствием многочисленной толпы, пришедшей добровольно, без зова отдать последний долг любимому человеку. Тело Панаева погребено на кладбище Фарфорового завода, где схоронены его отец и дети.

Когда будут разобраны бумаги покойного, мы сообщим читателям то, что можно будет напечатать из посмертных трудов его. Мы также приложим к «Современнику» портрет Ивана Ивановича. Само собою разумеется, что мы употребим все усилия, чтоб этот портрет был хорош. Он будет выгравирован на меди, за гра-
ницею ⁶.